

Всю жизнь Аристарх Павлович ждал весны, причём какой-то особенной, и каждый год в последний зимний месяц начинал к ней готовиться, обнадёживал себя. Ну, мол, на этот раз уж точно будет такая необычная, такая восторженно-приятная, произойдёт что-то небывалое. И искал приметы: смотрел на солнце сквозь тёмное стекло, наблюдал за деревьями, за лишайниками, за тем, как пробивается трава, какая птица первая запоёт, когда кукушка закукует. Всякий раз всё совпадало, однако весна приходила самая обыкновенная: ставил снег, и вороньё, зимующее в дендрарии, разлеталось по всему свету, потом зеленели трава, деревья, и он с лёгким сожалением замечал, что это опять не та весна.

Такой же вот рядовой весной у него заболела жена и ровно через год, опять же весной, умерла. А врачи говорили: дотянет до тепла — выживет, ты только её каждый день води в сосновый бор дышать воздухом. Аристарх Павлович водил, и до тепла она дожила, могли копать по талой земле... Весной же старшая дочь Ирина не стала в школе даже экзамены сдавать, уехала в Москву, недоучившись, поступила на какие-то курсы маляров и осталась там жить. Через год другая, младшая, Наталья, с горем пополам закончила десятый и к старшей уехала. Весной же у него и дачу спалили, которую пять лет строил сам, всю деревом отделал, узорами, точёными балясинами, — терем, а не дача. В общем, вёсны пока только приносили несчастья, однако он всё равно ждал и надеялся на следующую.

По характеру Аристарх Павлович был человеком противоречивым. На вид высокий, мощный, но серьёзная эта стать никак не сочеталась с говорливостью, и потому его считали несколько легкомысленным человеком. В молодости он окончил Институт лесного хозяйства, но никогда не занимал руководящих постов, хотя видом напоминал большого начальника. А если хотел, то мог такового изобразить, сыграть ради удовольствия — построжиться, бровь изломать, побрякать и потом над собой же посмеяться. За его барствленную страсть Аристарха Павловича не любило начальство, поскольку он как бы отнимал и незаконно пользовался его атрибутами. Когда он остался совсем один, то отпросился с должности инженера в управлении лесного хозяйства и пошёл в лесники зелёной зоны: места возле города были заповедные и ещё не загаженные, если не считать ис-

правного и почему-то заброшенного военного аэродрома. К тому же обход его начинался чуть ли не от дома. В лесниках Аристарх Павлович окончательно раскрепостился и стал ещё говорливее, потому что, бродя по лесу, очень скучал от одиночества. Но в доме поговорить было не с кем, и, возвратившись с обхода, он отправлялся в оранжерею дендрария, где работали одни женщины. Долгое время дендрарий относился к лесничеству, пока его не передали в ведомство Горзеленхоза и сделали научным учреждением. Правда, от этого ничего не изменилось, на скудные средства можно было лишь латать дыры в оранжерее, попросту называемой теплицей.

Обычно Аристарх Павлович кипятил электрический самовар, собирал на старинный серебряный поднос вазы с конфетами, печеньем, колотым сахаром, чашки с блюдцами и отправлялся чаёвничать к женщинам. В оранжерее среди пальм и прочих южных растений стоял длинный стол для этого случая. Всякий раз женщины восторгались посудой Аристарха Павловича — розетками с позолотой, серебряными вазами и ложечками, изящными чашками старинного фарфора, — иную и в руки-то взять боязно, до чего хрупкая. Ситечко у заварника, щипчики для сахара — всё было музейное и невероятно дорогое, и привыкнуть к этому было невозможно.

— И не жалко такую красоту каждый день на стол выставлять? — спрашивали его. — А если разобьёшь?

— Жалко! — признавался Аристарх Павлович. — Ещё как жалко! Каждый раз несю чашку ко рту — душа замирает. Зато как красиво да вкусно! Я из старинной посуды чаю поплюю — на целый день прекрасное настроение и глаз блестит, будто от рюмки. Вы вот только посмотрите, сколько тайны в ней, в этой посуде! Сколько народу из неё чай пило? И ведь не разбили до сих пор! Да какие люди в руках это держали!.. Смотрите, вот ложечка, круглая, витая, в моей руке. Держу и волнуюсь! Как представляю, что молодая барынька Варвара Николаевна сидела вот так же за самоваром и этой ложечкой варенье в свой ротик несла, и губками касалась... Сердце к горлу подкатывает! Ведь я через эту ложечку будто поцеловался с ней! Эх!.. На старом кладбище были? Видели её могилу? Портрет её, скульптурный, из чёрного мрамора... Видели? Какая она была прекрасная! Эх, ти-имать!..

Случалось, в волнении он поругивался при женщинах, но одним-единственным словом, которое никогда не звучало пошло, а скорее, наоборот, выражало состояние его души в ту или иную минуту.

— Ты бы, Аристарх Павлович, сдал в музей свои сокровища или в комиссионку снёс, — предлагали ему женщины, когда он бедствовал от безденежья. — Да и опасно нынче такую ценность в доме держать.

— Да сдал бы, — соглашался Аристарх Павлович. — Есть что сдать, да посуда чужая... Слыхали, потомки Ерашовых отыскались? Месяц у меня жили, теперь переезжать собираются... придёт Алексей Владимирович Ерашов, или братья его, или сестра Вера Владимировна, скажут: где наше фамильное серебро? Где стекло да фарфор? Вон, смотрите, на каждой вещице — вензель с инициалами... И моё, и не моё... Разобраться, так и квартира у меня чужая, хотя ещё во время нэпа дедом куплена. Дом-то Ерашовым принадлежит, их родовое поместье, и дендрарий вовсе не дендрарий, а барский парк. Всё ведь руками их предков посажено... Сейчас вот дело идёт к возвращению награбленного, и Ерашovy нынешние дураки будут, если не вернут усадьбу. Хотя бы дом один вернули, им бы как раз было: ведь в живых четыре брата и сестра, все молодые, пять семей...

— А куда же жить пойдёшь? — спрашивали женщины. — И остальных жильцов куда?

— Остальных — это меня не касается, — отвечал Аристарх Павлович. — Пусть городские власти переселяют. Я же тут останусь. Вон там возле озера дом моего прадеда стоял, деревянный, двухэтажный, с гульбищем. Его как памятник архитектурной застройки придётся восстанавливать. Пусть Ерашovy мне только стены поставят под крышу. Остальное я сам сделаю. И буду жить. Хочу здесь жить, люблю это место. Мой прадед лесничим у Ерашовых служил, столько деревьев в парке посадил, каждое могу показать.

И всякий раз, когда Аристарх Павлович чаёвничал в оранжерее, кто-нибудь из женщин обязательно замечал: дескать, жениться бы тебе, молодой ещё, недавно пятьдесят отмечали. Что станешь делать один в двухэтажном доме? Аристарх Павлович косился на самую молодую из женщин — единственного научного сотрудника дендрария Валентину Ильинишну, однако предлагал самой старой, Наталье Ивановне:

— А вот выходи за меня! Ведь не пойдёшь, тиимать!

— Куда уж! — ахала она. — Да и муж у меня!

— Мужа отобьём! — смеялся он. — А с тобой ещё трёх сыновей родим. Представляешь: иду я, а за мной ещё три сына!

— Чтoб рожала, помоложе найди! — Наталья Ивановна совсем не понимала шуток, и Аристарху Павловичу нравилось дразнить её.

— Мне только тебя надо! Сердцу не прикажешь... Ну ладно, я подожду, когда овдолеешь.

— Ой, дурак же ты, Аристарх Павлович, — обижалась она. — Что ты говоришь-то?

— Ну, тогда уходи от него!

— Как же я уйду, если всю жизнь с мужем прожила?

Чаепитие в теплице заканчивалось вместе с рабочим днём, и Аристарх Павлович забирал поднос с посудой и шёл домой, чтобы там вымыть её, обтереть и поставить в старинный, с гранёным стеклом, буфет. Оставшись без жены и дочерей, он содержал квартиру в такой чистоте, которой и при женщинах не было. Мыл, чистил и протирал больше от тоски и одиночества, и делал это через силу, потому что чувствовал постоянную какую-то мечтательную лень. Ему больше нравилось просто лежать на диванчике с гнутыми ножками и часами воображать невесту что. Однако фантазии его были приятными, когда в доме царили покой и чистота. Чаще всего он начинал думать об утраченной жизни, которая существовала в этом доме, и будто наяву слышал голоса давно умерших или погибших людей. Внизу, под квартирой Аристарха Павловича, жила единственная дальняя родственница Ерашовых, бабушка Полина. Она давно уже не вставала с постели, не выходила на улицу, и Аристарху Павловичу с детства казалось, что она всё время была старая. Она помнила ещё тех, прежних Ерашовых, и рассказывала о них почти сказки, которые, правда, заканчивались печально и трагически: одного убили, кто-то умер от тоски, кто-то всю жизнь просидел в лагерях, кто-то покончил с собой. Но это в финале, а сама их жизнь была какой-то романтической, заманчивой, и вот эту жизнь Аристарх Павлович воображал себе, когда ему в доме становилось покойно и уютно.

И от Ерашовых мысли постепенно переносились к себе самому, и он представлял, как бы существовала жизнь в доме, если бы оказалась тут Валентина Ильинишна. Он видел её в длинном платье, с высокой причёской, с колечками волос у виска, плавную, медлительную, с движениями, полными благородства и достоинства. Валентине Ильинишне было немного за тридцать, и выглядела она очень современно — джинсы, куртки, майки, волосы в пучок, но стоило в воображении переселить её в этот старый дом, как она мгновенно преображалась. Аристарх Павлович знал её уже лет десять, с тех пор как она после института пришла работать в дендрарий и была совсем девчонкой. Однажды они встретились в лесу неподалёку от заброшен-

ного аэродрома. Была весна, и Валентина Ильинишна выкапывала дички — унесённые ветром и случайно проросшие семена редких пород деревьев. Самое странное, что они ни слова друг другу не сказали: встретились, постояли под деревом, посмотрели друг на друга и разошлись. И что-то произошло той весной! Проросло какое-то семя, пробился из земли дичок. Не завял с годами, но и не вырос, потому что не пришло ему время. Но сейчас этот побег вдруг потянулся вверх и стал бурно ветвиться, и то, что раньше казалось нереальным, начало приобретать плоть. Он ли начал молодеть после пятидесяти, она ли повзрослела, но Аристарх Павлович перестал считать себя старым для неё.

Однажды в аэропорту Аристарх Павлович увидел одну такую пару и долго наблюдал за ней. Молодая женщина возле своего мужа в зрелом возрасте смотрелась очень уж нежной и удивительно лёгкой. Он же, умудрённый и седоватый, казался мужественным и всемогущим. Двинет бровью, и любое желание её исполнится в тот же час. Заметно было, что женщина тяготится обилием народа, суетой, шумом и тоскует по одиночеству вдвоём; иногда она ласкалась к мужу, но очень тонко, неуловимо, понятно только для них. То как бы невзначай тронет пальчиком его губы, то слегка прикоснётся лбом к короткой седой бороде или едва видимо проведёт коготками по его горлу. Аристарха Павловича от таких чужих ласк бросало в озноб, а муж её словно мраморный был и лишь смотрел на неё с затаённой любовью. И вот Аристарху Павловичу хотелось не просто женитьбы, но какой-то особенной близости с Валентиной Ильинишной. Он и звал-то её про себя лишь по имени-отчеству, ибо не мог, не смел унижить, называя только по имени, её высокого достоинства и целомудрия. В своих воображаемых картинах их жизни он даже исключал возможность женитьбы, чтобы опять же не умалить отношений обыкновенным супружеством. Он представлял, что встречается с ней тайно, в глухих уголках дендрария. Дождливый поздним вечером она приходит на свидание под Колокольный дуб (когда-то между его отростками висел пожарный колокол), и они стоят под одним зонтиком, целомудренно прижавшись друг к другу. И больше ничего! И оба знают, что встреча эта всего на минуту-две. Нужно успеть надышаться друг другом, а потом быстро разойтись в разные стороны и не оглядываться, чтобы не было смертельной тоски до следующего свидания. И вот новая встреча, возле купальни, на самом деле полузаросшей лужи, однако в воображении облагороженной: на воде пла-

вают жёлтые листья и опять идёт дождь. Они сидят в беседке, за столиком друг против друга и лишь слегка касаются пальцами. И тоже пора размыкать руки...

А преград для их свиданий не было никаких! И наверное, многое из мечтаний Аристарха Павловича воплотилось бы в жизнь, не случись прошлой весной таких событий, которые круто повернули жизнь.

Вдруг ликвидировали поместное лесничество и уволили Аристарха Павловича. Он вначале обрадовался и попробовал пойти на службу в дендрарий, но там уже шло сокращение, и при всём уважении к нему даже места сторожа не нашлось. Оставалось одно — идти заниматься в Институт вакцин и сывороток, ферма которого вплотную примыкала к дендрарию и представляла собой длинный ряд новых каменных конюшен за высоким, кое-где недостроенным забором из железобетонных плит. Там Аристарху Павловичу предложили на выбор две должности — конюха и сторожа. Зарплата у конюхов была много выше, и ходили они чаще всего в белых халатах, но Аристарху Павловичу не нравилась их служба. Накормить коней, почистить денники — куда ни шло, можно в удовольствие делать. Однако кроме этого каждый день надо было водить двух-трёх лошадей на забор крови. В донорском зале, где пахло бойней, коня ставили в специальный станок, надевали носовёртку, заворачивали так, чтобы лошадь от боли не шевельнулась, пока не набежит полная бутылка с резиновой пробкой. Кони знали, куда их ведут и зачем, и многие не могли привыкнуть, начинали биться, ломали себе ноги, выкручивали руки конюхам, орали, как люди перед смертью... А глаза?! Какие у них при этом были глаза!..

Посмотрел на это Аристарх Павлович и сумел только сказать:  
— Т-тиимать!..

И пошёл сторожить конеферму. Однако производство есть производство. Аристарха Павловича то и дело начали посылать в донорский зал на подмогу ветеринарам, которые забирали кровь, мол, днём сторожу всё равно делать нечего, а там женщины с конями маются. Тебя же здоровьем и силой Бог не обидел. С одной стороны, и правильно, с другой же — душа не терпит. С месяц он ходил и помогал, но однажды завели доходного коняку в станок, воткнули в жилу иглу и только новые бутылки подставляют. Конь уж и дрожать перестал, глаза закрыл.

— Т-тиимать! — закричал Аристарх Павлович. — Вы что делаете?!

— Этот на списание, — отмахнулась ветеринарша. — Последний раз мается...

И выточили из коня всю кровь! А потом для порядка перехватили горло ножом, подцепили челюстями автокара и повезли на мясо...

Лошади-доноры выдерживали в институте года три-четыре. Это была фабрика или, точнее сказать, прииск по добыче крови: её точили из коней, как золото из земли, как сок из весенних берёз. Когда конь начинал хиреть, его вот так ритуально убивали и сдавали на мясокомбинат. Аристарх Павлович жил рядом с конефермой, прекрасно знал, что там делают, но никогда не видел, как всё это происходит. В тот же вечер ему стало плохо, а ночью случился инсульт. Чуть живого его наутро увезли на скорой. Месяц он пролежал парализованным и немым, как чурка. А ещё через месяц он постепенно отошёл, восстановилось всё, даже блеск в глазах, но был утрачен самый главный его дар — дар речи. Он словно забыл слова, за исключением единственного — тиимать!

Лошадей в институте покупали не по цыганскому способу: увидел — сторговал, и каких попало. В основном они поступали с крупных конезаводов и из конноспортивных организаций. Все лошади были выбракованы по беговым качествам, но кровей они были чистых и знаменитых. Одна потянула сухожилие и после лечения уже не давала результатов, другая разбила лодыжку о барьер, третья просто ослабла на задние ноги, и основная масса — стареющие боевые кони, уже отскакавшие своё на бегах и оставленные хозяевами. Их, как и людей, награждали призами, медалями, лентами, но, угондив в институт, они мгновенно лишались всего, в том числе и своей, может быть, когда-то известной клички: здесь им, как в концлагере, присваивали номер, который вымораживали жидким азотом на крупе; здесь они становились биологическим существом, способным вырабатывать кровь для изготовления вакцин, сывороток и прочих медицинских препаратов.

— Тиимать!..

Конюхами работали мужики из деревни, которая уже давно примкнула к городу и постепенно обстраивалась девятиэтажками. Шли они сюда не только чтобы быть возле привычного дела, а больше из практических, житейских соображений — заработать квартиру в городе. К лошадям они относились с крестьянской любовью,

жалели их, морщились, когда следовало водить подопечных в донорский зал, но и забивали тоже с крестьянской любовью: отмучилась скотинка... Однако каким-то неведомым образом среди мужиков-коныхов оказалась единственная женщина — Оля, девица лет двадцати двух, совершенно помешанная на лошадях. Ей было всё равно, где работать, только бы с конями. Говорили, что она в юности занималась конным спортом, и довольно успешно, но потом ипподром в городе закрыли, жокеев разогнали, спортсменов тоже, и Оля теперь зарабатывала возможность прокатиться верхом с вилами и лопатой в руках. Была она невысокой ростом, щуплой, плосковатой и невзрачной, большие очки не держались на переносице и вечно сползали на крылья маленького носа, отчего она слегка гнусавила. И какая там будет женская красота, если видели её только в резиновых сапогах, шароварах да синем «обряжном» халате? Ко всему прочему, Оля была молчаливой, какой-то сосредоточенно-грустной, и мужчины не воспринимали её как женщину, а точнее, не замечали в ней женского начала. Полудеревенским, полугородским мужикам хотелось яркости, красок, резких тонов и контрастов, что они и находили среди ветеринарного персонала института. Однако при этом Олю конюхи уважали, ибо она знала о лошадях всё. Придёт новая партия коней в институт, и Оля почти безошибочно назовёт, с какого конезавода привезли, а то и перечислит не только клички, но и всю родословную до седьмого колена. С иной лошадей, как с сестрой, встретится, обнимет за шею, приласкается:

— Астра, Астрочка... Вот ты какая...

Благодаря Оле конюхи звали лошадей по кличкам и как бы тем самым продляли их личностную жизнь, сглаживали великую несправедливость к заслугам и высокой породе обречённых на медленную смерть.

Говорливый Аристарх Павлович с первых же дней нашёл общий язык с Олей, к тому же сбегал домой, принёс самовар и свою чудную посуду — конечно, хотел удивить, но особенного восторга не услышал, зато получил расположение молодой конюшицы. И сразу понял, что она — чокнутая. Если до болезни весь полёт фантазии у Аристарха Павловича достигал высот тайных встреч с Валентиной Ильинишной либо женитьбы на ней, то у Оли воображение оказалось вообще необузданное. Она мечтала тайно случить Астру, бывшую олимпийскую чемпионку, с Голденом — ахалтекинской породы жеребцом, тоже известным в мире, а жеребёночка взять себе, вырастить его, воспитать,



обучить всем конским наукам (разумеется, тоже втайне), чтобы затем, скрывшись под маской, появляться на всех международных соревнованиях, показывать высший класс и бесследно исчезать. По «племенным» расчётам сумасшедшей Оли, Астра и Голден должны были произвести на свет чудо из чудес.

Только за этим она и пришла работать в институт. Загвоздка была в одном: из Астры уже давно качали её чистую кровь, а вот Голден хоть и был преклонных для коня лет, но все ещё служил: на какой-то госконюшне из него качали семя, замораживали его в жидком азоте и хранили для будущего потомства от кобылиц, которые ещё не родились на белый свет. Аристарху Павловичу, услышавшему такое, показалось, что мир людей и лошадей сошёл с ума.

Случалось, что в институтских конюшнях рождались жеребята (случки происходили по недосмотру конюхов), но их тут же забивали, поскольку не жильцы они были: где уж там развиваться нормально плоду, когда из матери ежемесячно стравливают живительную, питающую кровь? И если даже рождался нормальный, то правилами институтского общежития лошадей подобный акт не предусматривался, увы, кони здесь давали лишь кровь, но не потомство. Конюхи обычно жеребёнка прятали, чтобы потом загнать за литр водки цыганам либо татарам на мясо.

И вот уже после инсульта, когда онемевший Аристарх Павлович вышел на работу, Оля сообщила ему, что Астра не просто жеребая, а на сносях и надо ждать со дня на день появления «чуда».

— Тиимать... — сказал на это Аристарх Павлович и больше ничего не сумел просить.

Но Оля сама рассказала, что Голдена ещё не привезли в институт и что она тайно случила Астру с жеребцом по кличке Гром, в прошлом очень резвым скакуном будённовской породы, но повредившим себе крестцовый позвонок при падении. Сделала она это, чтобы проверить Астру — способна ли та нормально выносить плод, если последние четыре месяца вместо неё водить в донорский зал другую кобылу. Ветеринарши — полные дуры, им всё равно, кого поставили в станок, хотя они обязаны следить, у кого и сколько взять крови.

Аристарх Павлович сходил с Олей в денник, где стояла эта самая Астра, и впервые на неё посмотрел. А была она действительно красавицей, несмотря на отвислое брюхо: высокая, темнокожая, с маленькой нервной головкой и невероятно тонкой кожей — все жилки на виду!

Когда же рано утром Астра ожеребилась, то и особых знаний не нужно было, чтобы определить, каков плод. Жеребёнок сразу встал на ноги, прогулялся по деннику и сунулся матери под брюхо. А голос подавал звонкий, крепкий. Оля же его общупала, исследовала пасть, нос, уши, сердце послушала медицинской трубкой и вдруг радостно заявила:

— Аристарх Павлович! Я дарю вам жеребчика!

Аристарх Павлович сначала рот открыл: как это — дарю? А спросила, нужен ли такой подарок? Ведь это же не игрушка — живое существо, его поить-кормить надо, в каком-то помещении содержать.

— Тиимать!.. — вымолвил он и ничего не смог добавить.

— Забирайте скорее! — торопила Оля. — Конюхи придут — отнимут. А мне не хотелось бы, чтоб потомство Астры продавали за водку.

Конюшица точно была безумной и одержимой. Она производила эксперимент, совершенно не заботясь о будущем; ведь она бросала этого жеребчика, по сути, на произвол судьбы! И хорошо, что Аристарх Павлович в тот момент не умел говорить, а то бы всё сказал, что думает по этому поводу. Жеребёнка обернули мешковиной, чтобы не озяб (весна на дворе). Аристарх Павлович взял его на руки, как дитя, и понёс домой.

— Молоко я буду сдаивать и приносить вам, — на ходу говорила Оля. — А вы обыкновенную соску на бутылку — и ему. Жеребчик жизнеспособный, проблем с питанием не будет. И кличку ему придумайте сами, но обязательно чтобы были буквы «А» и «Г». Агронавт, например, или Агат.

Пока нёс к дому, ещё сомневался и негодовал, но вот же чудеса: внёс в квартиру, и стал этот жеребёнок ему как свой сын, как человеческий детёныш. Когда же первый раз покормил из соски, и во все расчувствовался до слёз. И стал ему имя придумывать. Фантазии было много, но язык не слушался, тут же ещё заморочки с буквами.

— Ага! — сам того не ожидая, вымолвил он. — Тиимать!.. Ага!

Аристарх Павлович выделил маленькую комнату жеребчику, однако пришлось убрать оттуда всю мебель и до половины забить окно фанерой, поскольку Ага норовил выбить носом стёкла. И к тому же на крашеном полу копытца жеребчика скользили — роговица ещё была нежная, мягкая, как молочный сахар, и Аристарх Павлович пожертвовал ему старинный, изрядно вышарканный персидский ковёр.

С неделю о существовании в доме жеребёнка никто не догадывался. Только сосед с первого этажа, Николай Николаевич Безручкин, встретил как-то во дворе и, щурясь хитровато, спросил:

— Ты что же, Палыч, женился и помалкиваешь... Хоть бы жену-то показал...

— Тиимать... — ответил Аристарх Павлович: мол, с чего ты взял?

— Да как же, слышу — каблучки-то стучат. Не глухой, — приставал Безручкин. — По звуку слышно — молодую взял. Уж не Ильинишну ли высватал?

— Ага! — замахал руками Аристарх Павлович. — Ага, тиимать!

Вот так и поговорили. А ещё через неделю Аристарх Павлович смастерил из шёлкового пояска покойной жены уздечку и вывел жеребчика на прогулку: в дендрарии пошла первая травка на солнечных местах, Ага же, проявляя интерес к растительности, начал было щипать ворс старого ковра на полу.

И конечно же, повёл жеребчика сначала в теплицу, женщин подивить. После болезни он бывал у них всего один раз и больше не заходил, потому что оскорбился: его стали жалеть, чем ещё больше подчёркивали его теперешнюю ущербность и неполноценность. Вот уж сейчас точно, если доведётся ходить на свидания с Валентиной Ильинишной, то встречи их действительно будут короткими, тайными и молчаливыми.

Аристарх Павлович ввёл жеребчика в теплицу и сразил всех женщин в один миг. Этого они никак не ожидали, обступили, вытаращились, тянут руки:

— Это что? Что это, Аристарх Павлович?

И неожиданно для себя Аристарх Павлович ответил:

— Это же... ребёнок! Ага!

— Ой! — ещё больше изумились женщины. — Да ты и разговаривать начинаешь! Ну-к, повтори!

— Это же... ребёнок, — повторил Аристарх Павлович. — Ага, тиимать!

— Что — ага?

— Ага! Ага!

— Ага — это имя жеребёночка, — догадалась вдруг Валентина Ильинишна. — А я думаю: что это девочка из конюшни к Аристарху Павловичу зачастила? Молочко приносит!

Её догадливость приятно отозвалась в сердце Аристарха Павловича: если замечает, кто из женщин входит в дом, значит, не всё и по-

теряно, значит, есть у Валентины Ильинишны интерес и что-то вроде ревности. С каким облегчением она сказала: «Молочко приносит!» Или только послышалось это облегчение?

Однако увлечение Аристарха Павловича теперь вынужденно пригасло, потому что он носился с жеребёнком, как с ребёнком. Ага подрос, и ежели уж напрудит лужу, а вовремя подтереть не успеешь, течёт к соседям, и не куда-нибудь — на кухонный потолок Николая Николаевича Безручкина. Ко всему прочему, половицы уже так напачкались, что свежему человеку в квартире сразу било в нос.

Безручкин был человек хозяйственный, в скотине знающий толк, хотя держал только свиней. Работал он шофёром в спецавтохозяйстве и, несмотря на все запреты и угрозы администрации дендрария, заезжал домой на своей мусорке, чтобы выгрузить в чаны пищевые отходы и пустые бутылки. Это был его главный заработок: бутылки он мыл в озере, ставил в ящики и сдавал, а отходами выкармливал до десятка свиней. А свиначник себе оборудовал из сарая, тоже несмотря на запреты: тогда ещё была политика продовольственной программы, и Безручкина голой рукой взять было нельзя. Он успел узаконить фермерское хозяйство и теперь вообще был неуязвим. Летом жильцов дома в дендрарии одолевали мухи и круглый год — огромные рыжие крысы, которые столовались возле свиней. Аристарх Павлович относился к соседу терпимо из-за терпимости своего характера, но все остальные жильцы вели с Безручкиным гражданскую войну. Николай Николаевич в ответ на терпимость Аристарха Павловича тоже проявлял сдержанность, хотя посчитал соседа дилетантом в сельском хозяйстве, а затею с жеребёнком — глупостью. Но когда с потолка ему закапало в щи, он зашёл к Аристарху Павловичу и сказал:

— Закрывай конюшню, Палыч. Или давай меняться квартирами.

Поменяться жильём с Аристархом Павловичем он намеревался давно. И деньги предлагал, и свининки, и даже пытался свести его со своей двоюродной сестрой — женщиной странноватой, кажется, какой-то сектанткой, — чтобы породниться и совершить родственный обмен. Дело в том, что квартира Николая Николаевича хоть и была однокомнатной, но большой, да с некоторых пор имела для него неудобное соседство: бабушку Полину — девяностолетнюю старуху, давно прикованную к постели. Когда-то Безручкин был доволен таким соседством, намереваясь после смерти прикупить две старухины комнаты, обставленные дорожкой старинной

мебелью красного дерева. Но бабушка Полина всё жила и жила, пока у неё не объявились законные наследники — подполковник Ерашов с братьями. Этот подполковник, оказывается, был внуком полковника Ерашова — последнего владельца всего имения, куда входили и дом, и дендрарий, и все прилегающие земли. Так вот этот Ерашов три года назад променял свою квартиру в Питере аж на шесть комнат в родовом доме. Три счастливые семьи уехали в Ленинград, втайне опасаясь, что подполковник опомнится, передумает и прервётся чудный сон. Но Ерашов не передумал, а вскрыл давно запечатанную дверь из своих комнат в квартиру бабушки Полины, которая доводилась ему родственницей по отцовской линии, нанял домработницу, а сам укатил дослуживать. Теперь без малого полдома принадлежало Ерашовым, ибо бабушка Полина немедленно завещала всё имущество вновь обретённой родне. Безручкин пытался сопротивляться — всё-таки несколько лет всей семьёй ухаживал за старухой — и требовал свой пай мебелью, однако подполковник оказался афганцем, мужиком крутым, а соседи-наушники тут же напели ему, что Николай Николаевич морил бабушку Полину голодом, чтоб скорее прибралась, и бывшие жильцы, уехавшие в Питер, от радости такого наворотили на Безручкина, что Ерашов, застав его во дворе, вроде бы интеллигентно, да как-то дерзко предупредил:

— Живите пока... Но очень прошу вас, не попадайтесь мне на глаза. Пожалуйста.

Николай Николаевич всяких орлов видывал и тут бы не сробел, однако смутили непривычный тон и лицо подполковника, наполовину обгоревшее, пятнистое и стянутое к шее. Говорили потом, что он дважды горел в вертолёте и вот поехал догорать в третий раз. И пока его не было, Безручкин хотел взять реванш. Обмен с Аристархом Павловичем открыл бы ему дорогу постепенно занять весь второй этаж дома: за стеной бывшего лесника жил старик Слепнев — пьяница, добывающий себе на вино ловлей птиц, за ним — старая дева Таисья Васильевна, горбунья-библиотекарша, которая жила где-то в городе у сестры, и угловую квартиру занимали на вид приличные муж и жена, однако неожиданно угодившие в тюрьму по редкостной статье — за оставление в опасности. Надежды, что Ершов в третий раз обязательно сгорит не в Афганистане, так в Армении или Азербайджане, у Безручкина были, да толку-то, если у него ещё три брата и сестра? Поэтому следовало обосноваться на втором этаже и постепенно расширять плацдарм. К тому же Аристарх Павлович, превратив